

Эдвард Радзинский

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН

A stylized, expressionist painting of a woman's face and upper body. She has a pale, almost white face with closed eyes, and her skin is rendered in shades of yellow and white. She is wearing a wide-brimmed hat. Her right hand is raised to her face, holding a lit cigarette. The background is a textured, mottled purple and blue. The overall style is reminiscent of early 20th-century modernist art.

**ЖЕНИВШИСЬ –
НЕ ЗАБУДЬТЕ РАЗВЕСТИСЬ**

Эдвард Станиславович Радзинский Женившись – не забудьте развестись (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12242883

Женившись – не забудьте развестись (сборник): АСТ; Москва; 2015

ISBN 978-5-17-093860-5

Аннотация

Она выбежала из квартиры – в ночь, в дождь. В комнате еще пахло ее духами... И висело ее платье. Он сидел на стуле и тупо повторял любимую фразу преподавателя Григулиса: «Смейтесь, всегда смейтесь, чтобы не заплакать». Это и был конец.

Содержание

Женившись – не забудьте развестись	5
Все на продажу (Монолог о браке)	50
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Эдвард Радзинский
Женившись – не забудьте
развестись (сборник)

© Радзинский Э. С., 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Женившись – не забудьте развестись

Она дала ему номер своего телефона и просила звонить.

Кронов много раз собирался это сделать, но боялся, что будет тянуть по телефону скучные, глупые слова и все испортит. Поэтому он узнал в канцелярии адрес и все время бродил около ее дома.

Встретил он ее через неделю в университете. Это было в субботу. Сокурсники собирались отбыть в турпоход. Они сидели во дворе на рюкзаках и пели песню «Если б был я турецкий султан, я бы взял тебя в жены».

Они ждали Кронова, который в это время нес из профкома остроумный плакат:

«Не потеряем в лесу человеческий облик».

На повороте коридора у расписания стояла она.

Кронов остановился как вкопанный.

– Что ж вы не звоните, Дима? – сказала она.

Он забормотал какую-то глупость.

– Это невежливо, Дима. Вот и все.

Она поглядела на транспарант «Не потеряем в лесу человеческий облик» и не спросила: «Какой дурак мог выдумать эту тупость?» (как спросила бы потом, через пару лет).

Но улыбнулась, и очень нежно. Потом посмотрела на его ковбойскую шляпу и не спросила: «Что за ужас у тебя на голове?» Но сказала: «Какая чудесная шляпа... Она вам очень идет, Дима».

– Пойдемте с нами... в этот самый турпоход, – сказал он, совсем охрипнув (это случалось всегда, когда он очень волновался).

– Нет, милый Дима, я не пойду в «этот самый турпоход». Она удивительно это сказала: в ее словах была и взрослая улыбка, и признание собственной слабости, и понимание, как женственна эта слабость.

На прощание она улыбнулась ему, как-то мельком, с какой-то тайной, ресницы у нее при этом чуть опустились и глаза лукаво блеснули.

Как она была красива! Она была чудо как хороша. На трагически бедном красивыми девушками физфаке многие были уверены в этом. Потом, когда они окончат университет, только трое верили в это по-прежнему: она, ее мама и он.

Он часто думал потом: «Ведь не всякий поймет, какая она красавица. И будет пороть ей какую-нибудь чепуху о том, что у нее добрая душа. А она красавица... Но чтобы это понять, надо было видеть, как она уходила тогда по коридору, полыхая в солнечном свете золотыми волосами».

Сначала надо нарисовать рай...

Рай – это то, что было среди самых его первых ощущений

в начале жизни... Он помнит, что было лето и утро... И он бежал по мокрой некошенной траве, и вокруг пахло чем-то розовым, сладким. «Это – земляничная поляна», – сказала сзади мама.

Потом он забыл об этом. И вспомнил, когда появилась она.

Итак, надо нарисовать земляничную поляну, и на поляне двое: он и она. А внизу не забудьте скромную подпись: «Рай»...

После встречи в коридоре они стали видеться каждый день.

И было у них, как у всех... как тысячу... миллион лет назад. Они полюбили читать одну книгу. Они сидели в университетском скверике, склонившись над книгой и ощущая сдвинутыми плечами прекрасную близость друг друга.

Да, все было у них обычно, пока не наступил тот день – их первый день испытания на жизнь.

Провожали чету вулканологов. Вулканологи уезжали на вулкан, где должны были осесть на долгие годы. Все немного выпили и начали говорить то, что думали, то есть жалеть вулканологов, которые уезжали от всяческой жизни к своему одинокому вулкану.

Тогда встал супруг-вулканолог и сказал речь. Он сказал, что если человек – ученый, то вся жизнь его – драма, то есть драма борьбы. Если люди любят друг друга, то жизнь их сра-

зу поэма и драма... И потому им не нужен никакой театр, они сами театр.

«Я люблю эту женщину, – говорил он, глядя на свою жену-вулканолога, – и она меня. Рядом с нами будет удивительная природа. И объект исследования – объект нашей драмы – будет тоже рядом с нами. И мы будем счастливы – я, моя жена и вулкан».

Надо было бы добавить про детей, которые станут частью извержения вулкана.

Тут все захлопали, а она чуть не заплакала, так ей понравились слова вулканолога. Кронов сильно сжал ее руку. Не выпуская ее руки, он встал и повел ее за собой. Она молча пошла за ним из комнаты.

В коридоре кто-то кашлянул. Они вышли на лестницу. Он неумело прижал ее к себе и поцеловал. Она вырвалась и побежала вверх по лестнице. Он пошел за ней. Она остановилась на последнем этаже у окна и по-прежнему молча, не оборачиваясь, стала глядеть в это окно...

Во дворе был недостроенный дом, освещенный безжалостным белым светом прожектора.

Она повернулась к нему и заговорила. При этом она все время как-то досадливо поводила головой, но ничего не могла поделать с собой, и было видно, что она плачет.

Она сказала Кронову, что она любила безумно... до него, но ее разлюбили...

Ей бы сказать наоборот, что не она любила, а ее любили

безумно. И что она совсем не любила, но что кто-то хотел покончить с собой, вопрос стоял именно так... И она, только чтобы его спасти, и т. д. Но она не знала тогда, как нужно говорить в таких случаях.

Он молча повернулся и пошел вниз по лестнице... А она осталась у окна с видом на недостроенный дом. Он шел по улице и кривил рот, так ему было плохо. Потом он пришел в общежитие и улегся на кровать. Ему было уже двадцать лет, но она была его первая девушка. Он лежал и смотрел в окно, в теле была сухая легкость, как в детстве после сильных слез и болезни.

И все-таки он доказал себе, что человек не тот, кем он был прежде, а тот, кто он есть теперь. Он решил позвонить ей, и если она сразу возьмет трубку, значит, она ждет его, и это его судьба. И тогда он простит ее. (Он был уверен в своем праве прощать ее за то, что она уже любила до него.) Он не знал тогда, что, если бы она не подошла к телефону и если бы она сказала, что тысячу раз любила до него и столько же раз ее бросили, он все равно простил бы ее.

Была глубокая ночь.

Он набрал номер, и она сразу сняла трубку.

– Алло, – сказала она. – Алло...

Он молчал в трубку.

– Алло, – говорила она тревожно. – Алло... Алло... Алло... Алло... Это ты?..

Он молчал. Она, видно, была уверена, что это он, и поэто-

му сказала:

– Это Димка... Это Димка...

Она засмеялась счастливо-счастливо, а потом замолчала. Она всегда замечательно молчала. Она опускала голову и молча перебирала губами, как кролик. Он представил, как она там замечательно молчит, и чуть не умер от нежности. Потом она заговорила почему-то шепотом:

– Ты ничего не понимаешь... и ты меня обидел...

(Это не она его обидела, а он ее... И самое удивительное – ему было смертельно жаль ее.)

– Я тебя люблю, – сказал он, охрипнув.

– Ты хочешь сейчас спать?

– Нет.

– Я одета... Я быстро... Ты жди меня, где всегда.

Он ждал ее, где всегда. Очень долго ждал, как всегда. Она не умела торопиться. Она всегда собиралась загадочно медленно.

Потом она пришла. Когда он ее увидел, все, что он думал, показалось чудовищным, нелепым, будто он очнулся утром после страшного сна.

Она медленно шла по обочине тротуара, стараясь при каждом шаге попадать ногой на новую плитку, наверное, она что-то загадала и считала шаги, как девчонка. Он шел рядом.

Так они шли по улице, изредка поглядывая друг на друга. И если кому-то из них удавалось поймать взгляд другого,

они оба невероятно радовались.

Она вдруг сказала:

– А я ведь думала, что больше мы никогда не увидимся...

Потом они снова шли молча и играли в новую, еще более странную игру: они находили ощупью пальцы друг друга и сжимали до хруста. И ей было совсем не больно – так она говорила тогда.

Он проводил ее домой. В парадном они поцеловались. Потом она стала подниматься по лестнице, а он целовал ее на каждой ступеньке, увеличивая и увеличивая число поцелуев.

– Пропали мои губы, – шептала она.

Так они дошли до ее квартиры.

Они зашли в квартиру, потому что родители были на даче и входить ей одной в темную квартиру было неприятно.

В темноте передней они снова целовались, и только потом она зажгла свет. Но тут выяснилось, что они оба «совсем не хотят спать». И он решил не уходить еще полчаса...

Так наступило их первое утро. Как радостно, счастливо «все было». И как они проснулись, и она засмеялась и прекрасно сказала: «Димка, всю ночь... после... ты меня обнимал. Я так и проснулась, обнявшись...»

Наверное, он просто боялся, что она убежит. Или... что

все это сон.

Потом она встала и совсем голая пошла в ванную... И он совсем потерялся от ее красоты.

Было очень рано, когда они вышли из дому. Он удивился, как светел воздух и как громко поют птицы.

Он подумал, что днем они, наверное, тоже не молчат, просто их не слышно из-за шума на улицах.

Они шли к метро.

– Какое сегодня число? – спросила она.

– 12 июля.

– Сегодня «Самсон-ветродуй»...

Она засмеялась и прибавила:

– Надо же... Наш первый день с тобою – с таким глупым названием.

Она сказала, что в прошлом году жила в деревне у бабушки и выучила там все дни народного календаря. Он тоже захотел выучить. Они шли к метро и учили бабушкин народный календарь.

– Когда будет «Мокрида»? – спрашивала она.

– 26 июня, – отвечал он радостно и наобум.

– Нет, 26-го – «Акулина-гречишница». А когда будет «Зиновий – Синичкин праздник»? Не знаешь... Не знаешь...

За это ее знание последовал поцелуй.

Не знал он и главного события 20 апреля... Оказывается, в этот день по всей Руси в реках просыпаются русалки. И вся

бабушкина деревня отправлялась топить в реке старые рубашки, чтобы русалки могли прикрыть свою наготу.

Излишне говорить, что и это важное событие было отмечено поцелуем.

Особенно много поцелуев пришлось на день 5 мая... Оказалось, это был ведьмин день... Ведьмы в лесах, на полянах водили хороводы...

Она рассказывала, и глаза ее от ужаса становились круглыми... И он целовал ее, чтобы она понимала – Кронов защитит ее от всех ведьм в мире.

Их обогнал пустой утренний автобус. У автобуса влажно блестели бока и стекла.

И парень в окне автобуса смеялся и махал им.

На углу рядом с парком стояли два молоденьких милиционера. Им было очень весело: они играли в футбол теннисным мячиком. Два камушка обозначали ворота, и они били друг другу по воротам по очереди, «со счетом».

Кронов помахал рукой милиционерам, и они тоже помахали ему в ответ. Это было славно.

И Кронов радовался этому приветливому утреннему братству! А она вдруг замолчала. Потом вынула из сумки черные очки и надела.

И молча шла в черных очках и о чем-то думала.

За высокой оградой парка начинался лес. Там уже были

загород и высокое небо, не загороженное домами. И земляничные поляны.

Потом он сидел на кровати в общежитии, даже не пытаясь разобраться, что же произошло. Потому что тогда все было так понятно.

Еще два месяца назад он точно знал, «чтобы достичь в науке чего-то, жениться надо после 35». Так требовал «по своему опыту» любимый преподаватель Григулис.

Но любимый преподаватель Григулис не знал того, что теперь знал он. Есть она – «его женщина» – и все остальные женщины.

Ее мать была против этого брака. Ее мать знала, что дочь Лена – красивая, умная, порядочная, талантливая, работающая девочка. При таком обилии положительных качеств Кронов никак не мог ей соответствовать. И хотя мать знала это «совершенно точно» (ее любимое слово), но она была «реалистка» (другое любимое слово), то есть женщина прогрессивных взглядов в сложных отношениях родителей и детей. Поэтому она все это «тотчас сказала себе» (любимое выражение – употреблялось ею в абстрактном смысле). Обычно то, что она «говорила себе», она тотчас доводила до сведения всех. Например, обращаясь к дочери: «Я сказала себе, что ни единым словом больше не вмешиваюсь в твою жизнь, хотя я категорически против твоего брака».

Мать поговорила с отцом. Отцу было сказано, что, пока он был занят своими делами, любимая дочь изволила переспать с каким-то нищим студентом. Но изменить уже ничего нельзя, потому что «его дочь упряма как осел, точнее как ее отец».

У матери была одна-единственная просьба: подождать с оформлением брака. Когда эта одна-единственная просьба не была принята, мать «нашла в себе силы» пригласить Кронова в дом и познакомиться с ним (крепкое мужское рукопожатие).

Отца в день встречи удалили из дома, потому что «этот человек может только мешать».

Мать высказала еще одну-единственную просьбу: чтобы Кронов и ее дочь Лена, вступив в брак, не жили в ее доме. Такое «раздельное проживание исключает возможные трения». Здесь мать сослалась на пример очень разумной страны Швеции, где «просто-напросто существует закон, по которому в брак имеют право вступать только люди, обладающие собственным домом».

Кронов обладал только койкой в общежитии. Теперь, когда он ее провожал домой, они смотрели на освещенные окна. В каждом окне был собственный дом людей – счастливых людей, которые могли закрыть за собой дверь и быть друг с другом сколько душе угодно.

Ему даже приснился сон: с топором в руках он стоял

посреди мостовой города Стокгольма и строил себе дом. Он мешал движению, гудели автомобили и автобусы, свистели полисмены и соседи по общежитию, а он все строил, строил и строил дом.

Никакой сон ему не приснился, он вообще спал без снов. Он соврал ей это, чтобы она знала – он переживает!

Весной умерла ее тетка, и они получили по завещанию комнату в 19,8 квадратного метра в коммунальной квартире на станции Лосиноостровская.

Они переезжали. Шли со станции. У него на плече громоздился горбом огромный узел: это была их постель, связанная ремнями. Другой конец узла придерживала она. В руке он нес чемодан невиданной тяжести с кастрюлями и книгами. Горб все время сползал. И тогда она говорила:

– Тебе очень тяжело... Давай остановимся.

– Порядок! – бодро выкрикивал он и подбрасывал горб удалым движением плеча, обливаясь потом.

Они пришли.

И сразу закрылись на «свой крючок». Они были вдвоем в своей комнате.

Все было так прекрасно, что старая теткина кровать не выдержала радости их тел и развалилась... Они спали на полу. Слава Богу, пол выдержал.

Утром он увидел в окне небо и деревья. В комнате все шестелело. Это был ветер, который принес какой-то прекрасный розовый запах. И ему стало так ровно и мудро. И он вспомнил то, что хотел вспомнить: то раннее утро в детстве и слова мамы. Да, это был запах с той самой земляничной поляны.

Как легко исчезают счастливые Адам и Ева! Почему вместо них оказывается пара сильных молодых боксеров, способных без усталы лупить друг друга по 16 раундов подряд?

Брак сверстников опасен. Особенно брак однокурсников.

В нем нет тайны и слишком много детской простоты. Есть какой-нибудь Дима и какая-нибудь Леночка. Они абсолютно все знают друг о друге – в этом они совершенно уверены. И притом все время считаются, как положено сверстникам.

Больше всего они боятся ущемления собственных прав. Они наслышаны об этом. И часто все это больше похоже на совместный турпоход, чем на брак.

Борьба за равенство называлась у них «жизнь по Руссо». Это была вначале милая и любовная игра, а французский просветитель обозначал в этой игре «нетленную идею равноправия».

Например: «Согласно Руссо, кто сегодня должен чистить картошку, если вчера ее чистила я?» – спрашивала она.

И он чистил эту самую картошку, уважая нетленные идеи

Руссо.

Но когда он попытался, согласно идее великого французского просветителя, мыть сам посуду, то на тарелках все время оказывались невидимые ему, но отчетливо зримые ей пятна. Он очень старался, но эти невидимые, проклятые пятна всегда оставались!

В результате посуду стала мыть только она. И обед стала готовить только она.

Вскоре ей стало ясно, что никакой Руссо не поможет. У нее всегда будет больше дел потому, что она женщина. И вот тогда ей начало казаться, что из-за хозяйства она не успевает заниматься наукой. Она всегда училась добротнo, но средне, а он всегда считался корифеем. У него даже было почетное факультетское прозвище «мастуч». Маститый ученый – сокращенно. Но теперь она забыла это. Ей все чаще казалось, что она из-за него забросила любимую некогда науку и оттого учится добротнo и средне, а он эксплуатирует ее и оттого добивается успехов.

Особенно часто эти горестные мысли посещали ее в процессе мытья посуды.

Пока она мыла, то успевала подумать и о загубленном научном даровании и о том, как иные женщины убивают над раковиной свои лучшие годы. И потом их бросают мерзавцы-мужчины, которым они «швырнули под ноги бесценные годы». И ей так становилось себя жалко, что на глазах у нее наворачивались слезы.

Иногда их навещала ее мать. Она садилась в сторонке, но не помогала ей мыть посуду. Она трезво ждала, пока дочь научится все делать самостоятельно. А пока она сидела в стороне и говорила «себе самой» (то есть вслух) загадочную фразу:

Вот так уничтожаются люди.

Она, видно, тоже думала о погибшей научной судьбе дочери.

На лице ее матери всегда было обиженное выражение, когда она разговаривала с Кроновым.

Оно появилось в первый же день, когда он посетил их дом.

Кронов всегда спешил. Он жил в общежитии, в торопливом мужском общежитии, где главный лозунг жизни – «по быстрому» И вот, когда он пришел в их дом в первый раз все готовились сесть за стол, ее мать отозвала Кронова в сторону. На ее лице было обиженное выражение. Она сказала:

Я вынуждена открыть вам, дружок, – вы не умеете мыть руки как следует. После вашего мытья на полотенце остались грязные следы. Я рада вам сделать это замечание, надеюсь, оно вам поможет: вы достаточно взрослый, чтобы следить за чистотой своих рук.

Кронов чуть не умер со стыда. Есть вещи, которые нельзя говорить людям. Он, например, не смог бы. Но ее мать сказала все это твердо и четко. Она всегда говорила «всю прав-

ду» и очень этим гордилась. Что делать, она была сторонником реалистического подхода к вещам – к любым вещам.

Есть такие мудрые педагоги, которые считают, что главное – это трезвый взгляд на мир. Например, ребятишкам надо побыстрее объяснить, как они появились на свет (чтобы они, не дай бог, не подумали насчет аиста), а девушкам как можно раньше рассказать о периоде полового созревания и презервативах.

Они называют все это – смотреть на вещи реалистически и бороться с дезинформацией улицы. Но вообще-то это – свинство.

Хотя, может быть, и не так. Может быть, это полезно. Например, Кронов после того разговора начал так тщательно мыть руки, что теперь не поймешь, нужно ли вытирать руки полотенцем или наоборот. Правда, с тех пор он редко приходил к ним в дом. Зато с тех пор ее мать стала приезжать к ним сама. За обедом она часто устраивала дискуссии о том, что мужчина в семье должен быть мужчиной, а не облаком в штанах. Это означало, что Кронов и был этим самым облаком. Потому что настоящий мужчина – он:

во-первых, сильный и великодушный (это означает, что, если тебя кроют последними словами, ты должен понимать и прощать);

во-вторых, заботливый (это означает все время находиться в постоянной боевой готовности сбегать в магазин или в «ремонт обуви» и т. д.);

в-третьих, сильный и мудрый, то есть умеющий делать так, чтобы женщине было с ним хорошо.

Но что такое «хорошо»? Это понятие у ее матери все время менялось в зависимости от температуры воздуха, климатических условий и времени суток.

Кронов не был «настоящим мужчиной». Но ей с ним было хорошо. Во всяком случае, вначале, когда у них была эта самая земляничная поляна.

Тогда она не говорила, что им тесно. Но теперь ей уже перестало хватать крючка на двери. Он всегда помнил их первую крупную ссору.

Его курсовую работу приняли к печати в «Вопросах физики». Это было грандиозно!

Она вернулась домой раньше его и мыла посуду. Когда он открыл дверь, она не обернулась: это означало высшую степень гнева по поводу посуды.

Он решил сразу исправить ей настроение. Он рассказал про «Вопросы физики» и все время кричал неестественно громко: «Это потрясающе! Это грандиозно!»

Она вдруг резко повернулась к нему и, швырнув сковородку в раковину, с лицом, перекошенным от бешенства, начала кричать. Она кричала, что ей неинтересно все это слушать, что ей надоело, что «она тоже хотела быть ученым, а не посудомойкой» и что «стыдно строить свою карьеру на костях других».

Он молчал. Замолчала и она.

Потом она искоса поглядела на него. Ей стало его очень жалко. Она подошла и обняла его.

Потом они начали ждать ребенка.

Он был полон нежности к ее новому положению, к нему, кто был внутри нее.

С квартирой все было в порядке. Подходило время распределения, он уже знал, где будет работать, и там ему обещали квартиру.

Она строила грандиозные планы оборудования этой будущей квартиры. Тогда квартира казалась ей мечтой, такой же мечтой, как когда-то крючок на двери.

Все было в порядке, но ссорились они теперь почему-то часто.

В этот день все началось с пустяка, как всегда, и кончилось скандалом. Тоже – как всегда.

Она пришла из консультации и была очень расстроена, потому что на лице у нее появились пятна. Он начал рассказывать про статью в американском журнале о его работе.

– Ага, расскажи, расскажи мне о своих великих достижениях! – крикнула она. – Милый, Эйнштейну в голову не пришло бы хвастать, что о нем напечатали в каком-то ничтожном журнале!

– Это знаменитый журнал.

Но она не слушала! Она кричала.

– Ты – посредственность! Ничтожная посредственность!

– Замолчи!

– Только посредственность может строить карьеру на труде других! (Это она о себе.) И хвастать этим!.. Ненавижу тебя! И жалею этого несчастного ребенка, который должен появиться на свет... от такого человека!..

Он выбежал из комнаты.

Он поклялся не возвращаться домой никогда.

Он сел в электричку и поехал в Москву.

В электричке ярость улеглась. Он даже почувствовал легкую жалость к ней, но по-прежнему решил не возвращаться домой... правда, уже не вообще, а только до утра.

Он приехал в Москву в девять вечера и позвонил с вокзала преподавателю Григулису.

Григулис был из тех физиков, которых в литературе 60-х годов называли «шефами».

Это теперь «шефами» называют и таксистов, и швейцаров, и продавцов.

Григулис считал себя любимым преподавателем в университете.

В общем, так оно и было.

«Шеф» напоил Кронова чаем. Перед чаем Кронов пошел мыть руки. Он тер их по привычке долго, и когда вышел из ванной, на лице Григулиса был испуг. Потом они выпили бутылку «удивительного вина», которое Григулису посчастливилось открыть в магазине «Фрукты – овощи» напротив дома. Это было обычное крымское «Каберне», но Кронов

не спорил.

Потом пришла жена «шефа». Жена была очень красивая, яркая, какая-то черная и красная, как рябина. Григулиса она, видно, страшно любила и при каждом его слове торжественно глядела на Кронова, и на ее лице было написано: «Вы слышали что-нибудь подобное?!»

Кронов пил «Каберне» и думал: «Везет же людям! Сидят два ласковых интеллигентных человека и не орут друг на друга».

Григулис обожал Пушкина, но что было ужасно – он любил читать стихи вслух...

Прочтя монотонно три стихотворения подряд под восторженным взглядом супруги, Григулис отметил потрясающее воображение Пушкина. Он порадовался, что оно не было чрезмерным, иначе Пушкин стал бы математиком.

Посмеявшись вместе с женой своей шутке, Григулис начал что-то рассказывать...

Но Кронов его не слушал. Он думал о ней, о том, что она там совсем одна и, наверное, плачет. Он точно знал, что она плачет, и ждет его, и умирает от страха за него. Она никогда не ночевала одна с тех пор, как они стали жить на Лосино-островской.

Было поздно. Он собрался домой, но Григулис сказал, что не выпустит его.

И Кронов заставил себя остаться.

Перед сном Григулис прочел ему проповедь. Он сказал, что сразу про него все понял, что Кронов – типичный «подкаблучник». Так нельзя. Передовые люди уже давно заключают со своими женами «Пакт о ненападении». Он позволяет обоим делать все, что им захочется. Это избавляет двоих от лжи и, следовательно, от ссор. Он еще что-то говорил, тоже очень передовое, но Кронов не слушал.

Потом он лежал на крахмальных простынях и все пытался вспомнить о ее оскорблениях, чтобы перестать ее жалеть. Но он не мог.

Григулисовские часы пробили полночь.

Теперь ему стало мерещиться черт знает что! Он вообразил, как какой-нибудь пьяный по ошибке забредет в их дом, перепутает дверь и постучит к ним (дверь выходила на лестницу). И она доверчиво откроет, потому что подумает, что это стучится Кронов, и тогда...

В ужасе он уселся на кровати. Потом оделся «по-быстро-му», написал Григулису милую записку: «Внезапно вспомнил, что оставил дома невыключенный утюг. Благодарю вас за все».

Этот невыключенный утюг много раз выручал его в жизни.

Был второй час ночи, метро бездействовало, на такси денег не было.

Он бежал к вокзалу через весь город. Его остановил милиционер. Он показал ему студенческий билет, милиционер аккуратно списал данные со студенческого билета на случай, если случится какое-нибудь ограбление.

Потом он ехал в последней электричке и мучился, когда же пройдут эти 20 минут пути.

Он пытался смотреть в окно и сквозь безумное свое отражение различал луну за окном. Луна шла за поездом над темной землей...

Потом он бежал со станции к дому, проваливаясь в какие-то ямы и спотыкаясь о какие-то бутылки и банки.

Луна ушла, вокруг была тишина рассвета. Но светать не начинало – небо было в тучах. Их дом был темен, только горело одно окно. Умирая от предчувствий, он взбежал по лестнице и постучал. Она сразу открыла и, конечно, даже не спросила, кто стучит. Он вошел с косящими от ужаса глазами.

Она обняла его. Он чуть не заплакал.

На столе стоял ужин.

– Почему ты не спишь? – спросил он.

– Я ждала одного человека...

– Может быть, того самого человека, которого ты ненавидишь?

– Да, я ждала того глупого человека... Не ешь стоя...

– А сначала что ты делала?

– Сначала я плакала.

– А потом?

– Потом я жалела себя. Я очень долго жалела себя... А уж потом начала ждать тебя и бояться.

Он представил, как она сидит на кровати, поджав под себя худые девчачьи ноги и, жалея себя, боится за него. И, опять задыхаясь от нежности, он пошел к ней.

Все было опять, как раньше...

Потом они объяснили друг другу, какие они дураки, потому что у них есть самое главное – любовь, здоровье и молодость, и они должны жить хорошо, быть счастливыми и не гневить Господа. Они долго объясняли друг другу эти справедливые вещи.

...За окном ударил гром. Комната осветилась близкой молнией – и снова рядом тяжело ударило.

– Как вовремя ты успел... – шептала она. И, представив, как он попал бы в этот ливень, в эти жутко вспыхивающие молнии, она прижалась к нему.

Он снова и ясно понял, что она его женщина. Во всем необъятном мире у него есть одна его женщина. Раньше это была мать. Теперь она его новая мать.

«Вот родится у нас кроха, и все будет замечательно... Ты его ведь ждешь? Правда, ждешь нашего?»

Им было очень хорошо в ту ночь. Они только не знали, что ночь эта была всего лишь островом среди всех прошедших и грядущих ссор. Очень маленьким островом...

Здесь надо нарисовать прекрасный остров среди океана. И чтобы обязательно были пальмы... много пальм. С пальмами будет яснее, какой это был прекрасный остров.

На следующий день они поссорились опять. Почему они не боялись ссориться? Наверное, все дело в том, что они были молоды. Молодым инстинктивно кажется, что в их жизни, которая только начинается, наверняка еще будет что-то самое настоящее, самое главное. И оттого молодые так смелы: они не боятся разрушать...

И они тоже отважно разрушали ссорами. Это были многообразные ссоры. Например, ссоры из-за ничего. Обстановка: он сидит и работает. Она вернулась из университета и готовит обед, и, конечно, очень сердится, что ей надо готовить в то время, как он сидит и занимается «делом», и т. д.

Потом он всегда забывал покупать сыр. Он не знал, почему так случалось. Он никогда не испытывал пренебрежения к этому ласковому продукту. Но почему-то забывал его покупать. И, когда он возвращался домой без сыра, она кричала в восторге обиды: «У меня осталось одно удовольствие в жизни – сыр! И ты, конечно, забыл его купить!...»

По дороге в университет он «забрасывал» белье в прачечную. В прачечной нужно было заполнять какие-то голубые и белые листочки: один цвет листочка означал «крахмалить белье», а другой – «не крахмалить». Пока он стоял в очереди, на него обрушивались идеи (это было время ди-

плома). И когда подходила пора заполнения цветных бланков, он светился идеями... Они гроздьями висели в мозгу, и он, конечно же, путал чертовы цвета. В результате вместо рубашек всегда крахмалили простыни и ночные сорочки. Когда он приносил белье и она разворачивала деревянные от крахмала простыни, она тотчас начинала кричать, что он занят только своими великими мыслями, что она не собиралась выходить замуж за Эйнштейна. Кроме того, этот великий ученый катал коляску и во время поучительного занятия по дому придумал теорию относительности! Потому что Эйнштейн был человек! И, следовательно, он не Эйнштейн, а просто обыкновенный самовлюбленный подлец!

Вот тогда он научился врать. Он объяснял неурядицы с крахмалом удивительной болтливостью и врожденной лживостью приемщиц в прачечных. Они только и думают, как бы поболтать со своими кавалерами. Именно в это время путают белье бедных клиентов.

Странно. Вспоминать об этом ему было теперь прекрасно и даже легко. Наверное, потому, что есть трогательная грусть в близко придвинутом прошлом. Или проще: сентиментальность. Все мы сентиментальны, когда дело касается воспоминаний.

Но он не так вспоминает. Слишком легко он вспоминает. Идиллии не было. Было жестоко и страшно – боксеры. Ее мать права. Он не был мужчиной. Он был только сверст-

ником, нормально-эгоистичным сверстником.

Кстати, о ее матери.

Он почему-то никогда не мог понять простой вещи: она любила свою дочь, и оттого было все. Этого нельзя было не понимать, и за это ей надо было прощать, и уж никак нельзя было пользоваться ее опрометчивыми словами и поступками в «отношениях двоих». А он пользовался, умело ловил ее на каждом неудачном слове и помнил до сих пор все эти слова...

А про себя он не помнил. Точнее, помнил, но только то, в чем был хорош.

А ведь было другое.

Это случилось в самом начале, когда еще была земляничная поляна. Она тогда его очень любила. И чем дальше, тем привязчивей, требовательнее была ее любовь. Однажды он почувствовал, что немного устал, что ему уже надоедает эта настойчивая любовь. И тогда исподволь, каждый день он начал готовить ее к мысли о мужской своей независимости, как учил Григулис.

Однажды он сказал, будто в шутку, что все мужчины просто в силу исторически сложившихся причин испытывают постоянную тягу к свободе. Без этого они несчастны. И порой у них возникает непреодолимая потребность – побыть одному, которая не всегда понятна женщине.

Даже если он думал так, говорить с ней об этом было нельзя. Но он сказал, потому что хотел тогда законно получить право на мужскую свободу.

Она молча убрала руку с его шеи (она обнимала его, когда он все это ей говорил) и задумалась.

Он спросил, о чем она думает.

Она не ответила. Когда она начинала думать о чем-то важном, к ней лучше было не обращаться.

Он не понял тогда, что она думала о своем доме. У женщины, есть ли у нее дети или нет, существует это чувство «своего дома». И в тот раз она, наверное, с ужасом подумала, что иногда он хочет жить без нее и что, оказывается, бывает время, когда ему тягостен «ее дом».

Она испугалась. А он не мог понять тогда всего этого. И не мог с ней поговорить как нужно. Он только чувствовал, что она понапрасну сердится на него, и оттого сердился сам.

В то время он первый раз поехал в командировку.

В дороге он тосковал и снова любил ее восторженно и сильно. Он вернулся к ней с этой любовью. Но она уже никогда не забывала, с какой легкостью, почти радостно он от нее уезжал. Она стала подозрительной – она боялась за свой дом.

А потом она стала ходить с животом. Губы у нее вспухли и стали совсем детскими, и были обведены по краям тонкой коричневой полосочкой.

Когда она пришла оформляться на работу (ей повезло, ее распределили туда, куда она хотела), директор НИИ мрачно посмотрел на нее и сказал прямо: «Это у вас на год... А у нас сейчас важная тема, нам нужны работники, а не пустые кресла».

На семейном совете Кронов и ее мать решили, что ей лучше посидеть пока дома («Благо, есть такая материальная возможность» – Кронова распределили в знаменитый НИИ).

И она осталась сидеть дома.

...Она попросила Кронова никуда не уезжать. «Это может начаться в любой момент», – говорила она, и глаза у нее становились блестящими от ужаса.

Ему нужно снова было ехать в другой город – на установку. Но он остался и очень злился. Она чувствовала эту злость и тоже сердилась. И оттого они все больше ссорились. Однажды во время очередной ссоры она крикнула ему:

«Вот подожди немного! Во время родов я умру! Я это чувствую! И тогда ты освободишься... И обретешь «исторически сложившуюся свободу!»»

Самое страшное: он не ужаснулся этих ее слов. Он устал от нее.

Брак – это соревнование эгоизмов. Необходимо, чтобы кто-нибудь один уступил. Тогда можно жить. Если уступят оба, наверное, тогда и случается счастье. Но никто не хотел уступать.

Он не смог быть взрослее. Он не смог понять ее тогдашнее состояние: тоску оттого, что она сидит дома, ее страх перед родами и то, что она казалась себе совсем одинокой – с будущим ребенком и с человеком, который, как ей теперь мерещилось, все время хочет от нее уйти.

Он действительно хотел уйти. Не от нее. От ее нервности и терзаний. Ему казалось, что тут нет ничего дурного: ведь он не уходит изменять ей. Просто посидеть с друзьями или совсем одному. Потому что находиться с ней стало очень трудно...

Он начал все чаще ей врать. Когда он врал, то говорил с ней каким-то новым, омерзительно ласковым голосом.

В тот день он позвонил ей с работы и сказал:

– Родненькая, я задержусь до вечера.

У меня тут неприятности (она его жалела, когда у него были неприятности, и тогда не сердилась на него).

– Хорошо, – сказала она (но он почувствовал, что все-таки сердится).

– Я куплю триста граммов сыру, – сказал он заискивающим голосом, чтобы разогнать остатки ее обиды и показать, как напряженно он трудится для дома.

– Хорошо, – сказала она мягче. – Только, пожалуйста, поосторожнее там... (Последняя фраза означала, что она уже не сердится.)

После работы он отправился на стадион. Он любил стадион. Для большинства женщин – это представление о стаде. Для мужчин – это братство. Там собирались десятки тысяч мужчин. На них кричали на работе, кричали дома, а здесь они сами кричали. На стадионе все эти мужчины возвращались в детство. Они беззаботно орали, пили пиво, ругались с соседями и, главное, забывали все свои взрослые неприятности.

После стадиона Кронов продолжил свои маленькие мужские развлечения – уселся с другом Генычем в «Стекляшке» – так называлось стандартное стеклянное кафе у стадиона.

В кафе можно было взять чешское пиво в высоких кружках.

Официантка принесла пиво, села за пустой столик и начала что-то записывать.

Геныч, конечно же, стал за ней ухлестывать.

Но ей было не до Геныча, она должна была заполнить анкету – ответы на вопрос «Почему пьют люди? Перечислить причины, как она их сама понимает».

– Отчего же они пьют? – особым «охмурительным голосом» спрашивал Геныч.

– Отчего не пьют, лучше спросите... От плохой погоды пьют? (Действительно, холод пронимает или жара).

– От жилищных условий пьют? (И вправду – тесно соловою в квартире или просторно).

Далее шли праздники, которые Геныч рекомендовал официантке подразделить на личные и общественные. Благодаря знаниям Геныча набралось 28 причин. Завершили они научно-исследовательскую работу мудростью «захотел человек и напился».

Это была лучшая теоретическая работа Геныча (которому Григулис еще в университете постоянно и нудно советовал покинуть наш факультет).

Григулис его не понимал – Геныч был Человек Жизни.

И пока Кронов занимался тайнами Вселенной, Геныч занимался жизнью.

И теперь ловко, как бы невзначай уже обнимал очень хорошенькую официантку.

Но тайны Вселенной потребовали новую кружку для Кронова.

Кронов неторопливо пил пиво и был счастлив.

За этим занятием его увидела ее мать, проходившая мимо «Стекляшки». Это был тот самый «один случай на тысячу».

Когда он вернулся домой и вынул 300 граммов сыра (он не забыл его в этот раз), она преувеличенно вежливо поблагодарила его за сыр и быстро ушла из комнаты.

Потом тотчас вернулась и спросила:

– Ну, какие же у тебя были неприятности?

Он почувствовал что-то неладное, смутился и оттого на-

чал рассказывать какую-то чепуху об очереди, которую он выстоял, покупая сыр.

Она прервала его рассказ о семейном подвиге и снова спросила:

– Ну, а все-таки, какие же неприятности задержали тебя на работе?

Голос у нее прервался.

Он хотел что-то ответить, но она не выдержала и крикнула:

– Зачем врать?!

Потом показала на его щеку и сказала:

– Вытри... это... пожалуйста... – И заплакала.

Он подошел к зеркалу и посмотрел на «это» и, к своему ужасу и недоумению, увидел на своей щеке след красной краски.

Он потер пальцем – краска не оттиралась.

Он лихорадочно стал вспоминать, откуда у него «это». У них на работе экзальтированные сотрудницы имели порой обыкновение чмокать в щеку сотрудников мужского пола за удачно найденное решение – это считалось высшим выражением восторга. Но сегодня его никто не чмокал. Он хотел объяснить ей, но, когда он начал, она сразу закричала:

– Уйди! Куда-нибудь уйди! Ты мне противен! Ты отвратителен! Ты мерзок!..

Он снова посмотрел в зеркало, пытаясь вспомнить что-нибудь. И тут он увидел свою руку, держащую зеркало:

на пальце был отчетливый след той же красной краски.

Он понял. Это был след от красной шариковой ручки.

Он с торжеством вынул авторучку.

– Смотри, – сказал он с восторгом. – Это же авторучка... –

И он начал ею мазать лицо.

– Уйди от меня! Уйди! (Но все-таки она искоса взглянула на него и поняла.) Ради бога, уйди... сейчас же!

Она, видно, чуть-чуть успокоилась и все пыталась вызвать прежнюю злость. А потом снова взглянула на него и поспешно отвернулась, чтобы не засмеяться. Потому что в восторге открытия он выкрасил себе все щеки.

– Где ты был?! Как тебе не стыдно?

Тут его прорвало. Он сказал, что они жутко живут, что так нельзя, что они не уважают друг друга. Он рассказал, где он был, и сказал много благородных вещей о понимании в семье.

Глаза у нее стали спокойные и очень усталые. Потом она помолчала и сказала:

– Значит, ты даже не уходил к кому-то. Ты уходил просто, чтобы побыть без меня. Это ты, который не мог жить без меня. Ты убежал от меня на футбол.

В тот день в ней умерло что-то, так она говорила ему потом.

А может быть, она просто что-то решила.

И потом они уже никогда не ссорились. Да и ссоры их постепенно перестали быть яростными.

...Они оба уже отказали друг другу в возможности понять то тонкое, сложное, что было причиной их поступков и чего (как они оба для себя выяснили) абсолютно не мог понять другой.

Они перестали быть откровенны. Они хорошо помнили, как раньше, в начале их любви, они торопились все рассказать друг другу и как потом во время ссор оба пользовались этой прежней откровенностью и били безошибочно по самым больным местам.

Теперь они разговаривали иначе.

– Как дела на работе? – спрашивал он, думая о другом.

– Все в порядке, милый, – говорила она, тоже думая о другом.

– Чудесно, – машинально отвечал он и добавлял, чтобы как-то продолжить беседу: – Да, ты позвонила технику-смотрителю? Надо сказать, чтобы починили батареи...

– Как же ты не заметил? Батареи уже теплые, – отвечала она раздраженно, но только чуть-чуть раздраженно.

– А-а, да-да, милая... Ты слышала, Женька Левшина разводится с Генычем.

– Бедная Женька!

– Бедный Геныч...

...При этом они пили чай и читали.

Им было нетрудно читать, пить чай и одновременно разговаривать, потому что они говорили друг другу ерунду. Теперь они могли разговаривать друг с другом и делать

при этом что угодно, даже петь могли.

Эго было бы вполне логично, если бы они пили чай, читали и при этом еще пели хором:

«Бедная Женька! Бедный Геныч! Они разводятся. А нам так хорошо, нам восхитительно! У нас батареи теплые».

А за стулом у каждого из них стояли бы огромные ларцы для складывания туда мыслей, тех настоящих мыслей, о которых они теперь уже не рассказывали друг другу.

«Святому месту пусто не быть». Человеку надо кому-то рассказывать свои главные мысли. Иначе человек одинок.

...Он был слишком занят в то время (пуск установки и все безумие, которое с этим связано), а она уже была свободна.

«Кроха», как они его звали между собой, родился и стал называться мальчиком Алешкой. Вначале мальчик Алешка благополучно жил у ее матери-педагога. А она поступала на работу. В том месте, куда она приходила по распределению, уже не было единицы. Но ей неожиданно повезло: создавался новый институт и она очень удачно туда устроилась.

Она стала ходить на работу. А потом у нее появились какие-то новые глаза. Мечтательные глаза. Она ожидала. Он увидел первый раз эти глаза, когда его привезли на два часа домой из Серпухова. Он быстро, как всегда, «срубал обед», а она, как всегда, успела опустить только ложку

в суп... Он хотел, как всегда, извиниться за свою торопливость и посмотрел на нее, чтобы сделать это... и тогда он увидел ее новые глаза. И он испугался...

Потом мальчик Алеша переехал к ним.

Кронов досрочно защитил кандидатскую, им дали квартиру.

В общем, даже в Швеции были бы в восторге от такого оборота дела!

В тот год он бешено работал, и работа его радовала.

Настоящее исследование – это грязный, долгий, неромантический труд. Там много пота и тяжелых утренних часов, когда теряешь веру в себя и не можешь сбросить ноги с постели – так все постыло и скучно. Но если получается, тогда живешь лихорадочно и великолепно ночные часы: в голову приходят особенные мысли, любишь всех людей на свете за сладость труда своего, и тело становится сильным, и появляется чертовская уверенность во всем.

В это время мальчик Алеша учился ходить: на стуле лежали два смехотворных комочка – его теплые носки.

А сам он в «домашних ботинках» с пугающей быстротой перемещался из комнаты в комнату – он жил; при этом он нагибался, распрямлялся, подскакивал, садился на пол, опять поднимался и все время сопел. Иногда слышался тугой шлепок. Это его маленькое чудное тельце падало на пол.

Тогда сопенье замирало, и в мире наступала тишина. Мальчик Алеша не плакал. Он ждал, пока Кронов в ужасе вбежит в комнату, где, недвижно распластавшись, Алеша лежал на полу. И уж тогда раздавался его облегченный плач. Он плакал Кронову. Никто не хочет плакать просто так, есть смысл только плакать для кого-то!

А ее в это время не было. Ее все чаще не бывало по вечерам.

Наступил тот день.

Он никогда не изменял ей. Им было хорошо вдвоем, и он точно знал: что, если он ей изменит, так хорошо им уже не будет. Он был ее, и только ее во всем мире, и она была его.

Все другое было неправильно, дикость. Она просыпалась рядом с ним утром, она говорила с ним. Это был ее голос. Голос его женщины. Его жены. Все другие голоса на этом месте были невероятны.

Кронов знал, когда это случилось.

В тот день она пришла домой какая-то странная. Она молча села в углу в кресло.

Он спросил у нее что-то, она не ответила. Она будто окаменела.

– Что с тобой?

– Ничего, – ответила она очень спокойно, – ни-че-го.

Он хотел спросить еще о чем-то, но зазвонил телефон.

Звонили из другого города. Там Григулис работал на установке и просил, чтобы Кронова немедленно вызвали.

Тут она вышла из своего ужасного молчания и истерически стала просить его не уезжать. Она, наверное, это читала – Островский, «Гроза», школьная программа по литературе: «Муж Тиша уезжать собрался, а жена Катерина собралась ему изменять и просит не уезжать мужа Тишу...»

Это очень удобно просить человека остаться, когда ты знаешь, что он не может остаться. Это сразу решает проблему. Ведь уехав, он становится нечутким, а это означает «вне закона». Итак, прощальное объятие, скупая женская слеза. Впрочем, женские слезы не бывают скупыми. Значит, обильная женская слеза, дверь захлопнулась, и наверняка последовала ее фраза, полная женской печали: «Как всегда, он ничего не понял». И теперь уже – никаких обязательств!

При встрече можно потом сказать изумленному болвану: «Я так просила тебя тогда не уезжать! Но ты уехал!»

...Он вернулся через неделю.

Квартира была какая-то пустая, нежилая, летняя. Мальчика Алешу без него увезли на дачу к ее маме. И она вся была какая-то странная и совсем чужая, как квартира...

– Ты хочешь есть?

– Нет, – ответил он почему-то, хотя хотел есть.

– А то я не ждала тебя... Я сейчас не готовлю...

Они помолчали.

– Да. Я хочу дать тебе адрес мамы... Если решишь пови-
дать Алешу.

– Зачем мне адрес? Ведь мы поедем туда вместе? – спро-
сил он. И вдруг понял, что она сейчас ответит.

– Нет, – сказала она, – мы не поедем вместе...

«Сейчас она скажет» – подумал он.

– Я люблю другого человека... – Она сказала эту жуткую
глупую фразу.

Кронову стало странно. Ему даже не было горько тогда.
Просто ему казалось, что он все это уже слышал, что все это
уже было и она уже когда-то говорила ему все это.

Он встал и, засунув руки в карманы, каким-то странным
шагом, прыгая с каблука на носок, начал ходить по комнате.
Потом она заговорила. Она, видно, приготовила свою речь.

Она сказала, что все время у нее с ним было «чувство оди-
нчества».

– Я всегда чувствовала..., что ты меня обижаешь, и, са-
мое страшное, ты никогда не понимал, когда ты меня оби-
жал. У нас разная кожа. Ты все время думал о себе... что-
бы тебе быть свободным, чтобы тебе было хорошо, ты раз-
дражался, когда было плохо тебе. Ты никогда не думал о нас
двоих... и о нас троих. С тобой всегда было тяжело разгова-
ривать. Я говорила и все время видела у тебя пустые глаза.
Ты выключался... тотчас, как только тебя не интересовало
то, что я говорю. Я стала сварливой. После каждой нашей
ругани я вспоминала свои слова, и мне было жутко, что я их

произносила...

И я думала, до чего же надо довести женщину, чтобы она стала грубой кухаркой... До чего надо довести женщину, чтобы она стала такой неинтересной... Я уже начала думать, что я такая и есть...

– С кем же ты узнала, что ты другая?

– Это неважно...

И вдруг сказала очень мягко:

– Зачем нам жить вместе?.. Любовь? Ее уже нет... Алеша? Но ведь все равно это случится. Не сейчас, так потом... А жить в такой безрадостной семье... И для Алеши это тоже не надо.

Кронов смотрел на нее. Она сидела очень красивая, ноги у нее были стройные, высокие и плотно и тяжело лежали в короткой юбке. Он ужасно хотел дотронуться до этих ног, но это все было теперь не его. Но он... он ее любил! Так любил, что сейчас готов унижаться.

Она заплакала.

– Что ты плачешь? – спросил он.

– Это неважно... это уже тебя не касается...

Она шмыгала носом, совсем как мальчик Алеша...

– Что ж ты плачешь, если ты меня не любишь?

– Мы жили вместе три года... Если даже просто жить с человеком три года... и то привыкаешь...

Она плакала и не вытирала слезы. Потом она еще говорила и опять плакала...

Она сказала, что перестала с ним чувствовать себя женщиной и что Кронов давно не говорил ей «слова». Сначала он попросту не понял, что такое эти самые «слова». Но потом выяснилось, что разговор шел о нежных словах, которые он перестал ей говорить.

Он тотчас представил, как он называет ее «моей рыбочкой» или «заинькой»...

– Что ты смеешься? – крикнула она.

– Я не знал, что это так важно, – ответил Кронов. – Я выучил бы все эти слова. Я бы называл тебя «дорогая, милочка, птишка...». Я бы называл тебя «лапочка, золотце»...

Он говорил все это с милой несерьезностью, как прежде.

– Не надо превращать это в балаган. Мне двадцать три года... Двадцать три года для женщины...

– Да, это старость... – сказал он, улыбаясь.

И наклонился, чтобы дотронуться щекой до ее заплаканного лица. Как раньше...

Но она вздрогнула и поспешно отодвинулась, почти отпрянула.

Он почувствовал ужас и отвращение всего ее тела. Наверное, потому что ее руки, ее щеки и все эти проклятые нервные окончания – все то, что осязает и любит, уже осязало и любило не его.

В передней раздался звонок – пришла ее мать. Мать очень торопилась. Она вошла и все никак не могла отдышаться.

Она спешила – она пришла на подмогу. Они, видно, договорились и даже приблизительно прикинули, сколько времени займет это объяснение. И вот мать пришла на случай, если Кронов станет буянить. В конце концов, от человека, который не умел как следует мыть руки, можно ожидать всего. Она была права.

Мать села. Она сидела на стуле и с торжеством смотрела на Кронова. Она выглядела так победно, что можно было подумать, что это она бросила Кронова.

Так они сидели и молчали.

Мать тяжело дышала и искала по карманам платок.

Наконец дочь заметила это и дала ей платок. Мать стала аккуратно и тщательно вытирать лоб, чтобы он не блестел. Потом вытерла щеки. Кронов не досмотрел до конца этого поучительного вытирания. Он встал и ушел из квартиры.

На следующий день она переехала к матери.

Но так все не кончилось.

Ей было тяжело, она плохо спала: ей казалось, что она его обидела и что он умирает.

Ему действительно было плохо – хуже некуда.

Он не знал, что так бывает. Он не мог никого дослушать до конца, он не мог ни с кем разговаривать, все люди его раздражали. Он не мог просто сидеть на стуле потому, что ему все время хотелось бежать к телефону и звонить ей. Он звонил ей и молчал в трубку. Она не хотела его узнавать и поэто-

му все спрашивала: «Алло, алло...» и делала вид, что не понимает, кто это молчит в трубку.

Потом он решил уехать в другой город насовсем и там работать. Но не смог «подальше от нее».

В это время у него вошло в привычку звонить ей каждую ночь и слушать ее голос и молчать... Он без этого спать не ложился. И он боялся, что однажды позвонит и ее не будет дома ночью...

Однажды он встретил ее. Она очень ему обрадовалась. Она, видно, тоже скучала.

Он узнал у нее об Алеше, который очень вырос. Они договорились, что Кронов придет его навестить... Потом они пошли в ресторан – просто пообедать...

Она сказала потом, что пожалела его тогда... Увидела исхудавшее лицо, повисший, как на вешалке, костюм и тонкую, цыплячью шею... и как он прятался за колонной в метро, когда она шла с работы... и пожалела его.

Наверное, так и было. И еще, наверное, она тогда не знала, будет ли ей хорошо с тем, с другим.

Они попытались снова жить вместе. Вернее, существовать вместе. Считалось, что это нужно ради мальчика Алеша.

Она металась по квартире, и все ее раздражало. ...И она «уходила к сестре», а он делал вид, что не понимает, куда она

уходит. А она делала вид, будто верит, что он не понимает.

Он презирал себя, обзывал себя, клялся себе, что прекратит этот ужас завтра же. Но когда понимал, что будет жить без нее, у него начинало болеть в животе, как будто ему всадили туда пулю.

Однажды она вернулась домой очень поздно, ночью. На улице лил дождь, она была в черном мокром плаще. Она неслышно хотела пройти по коридору... Но он открыл дверь из своей комнаты. И он увидел ее в черном, сверкающем плаще, поднявшуюся на цыпочки, чтобы прошмыгнуть по коридору в свою комнату... этакая сука... кошка после гуляний.

Она посмотрела на него, и что-то страшное – от его глаз к ее глазам... И она поняла, о чем он думает. Она заплакала. Она плакала и говорила, задыхаясь:

– Я не хотела... Я не хотела говорить с тобой по телефону... Но ты звонил, ты проверял, где я сплю ночью... А я ведь специально возвращалась для тебя... Потому что мне тебя жалко... было... Как же ты смеешь... так... смотреть на меня... Я ненавижу тебя... Зачем ты допустил эту жизнь... Я не хотела... Я не хотела...

Она выбежала из квартиры – в ночь, в дождь.

В комнате еще пахло ее духами... И висело ее платье.

Он сидел на стуле и тупо повторял любимую фразу преподавателя Григулиса:

– Смейтесь, всегда смейтесь, чтобы не заплакать.

Это и был конец.

Все на продажу (Монолог о браке)

Ему удалось посмеяться, но позже.

К тому времени Кронов начал писать пьесы... В этом – нечто безумное. Молодым людям надо писать стихи. Но зануда Кронов упорно писал пьесы.

И бедняга был потерян для науки. Он так и не стал Нобелевским лауреатом, как обещал ей когда-то...

Однажды, разбирая архив, он нашел сентиментальнейший рассказ о разводе и, выполняя просьбу нобелевского лауреата Григулиса, написал веселую пьеску.

Он так и назвал ее – «Веселенькая пьеска о разводе». По жанру комедия и мюзикл, должно быть...

На сцене – поставленный стоймя гроб. Действующие лица время от времени пытаются его открыть, но безуспешно...

Ибо там находится убиенное тело их брака...

И все действие по сцене ходит Печалька – задумчивый субъект, – который всех спрашивает: «Скажите, мюзикл скоро будет?»

Вообще, в минуты тревожнейших размышлений о судьбах нашего хренового человечества не забывайте спрашивать: «А мюзикл скоро будет?»

Итак, на сцене – кафе «Вареники» времен многожды героя Советского Союза, Героя Социалистического Тру-

да, Маршала Советского Союза Брежнева, который много лет, находясь в полном маразме, успешно руководил самой большой державой мира. И, согласно опросам благодарного населения, признан сегодня самым успешным правителем XX века.

Появляется ОН – герой пьесы.

Он еще молод (25 лет), а на вид – очень молод.

Он усаживается за один из столиков. Мимо его проходит ОФИЦИАНТКА. Он окликает ее, но ОФИЦИАНТКА, не обращая на него никакого внимания, величественно удаляется. Еще не настала эра мобильных. И потому ОН достаёт мелочь – он ищет две копейки, чтобы позвонить.

Опять появляется ОФИЦИАНТКА.

ОН. Девушка, а девушка!

Но ОФИЦИАНТКА так же молча, так же картинно раскачивая попой, проходит. Тогда ОН поднимается, подходит к телефону-автомату, висящему на стене, и набирает номер. Раздается звонок телефона – и тотчас в глубине сцены появляется женщина средних лет – ЕЕ МАТЬ.

ЕЕ МАТЬ. Алло!

ОН. Как жестко и определенно: «Алло». Не какое-нибудь там мягонькое: «Але».

ЕЕ МАТЬ (*снова*). Алло!

ОН. Попросите Лену.

ЕЕ МАТЬ (*с сарказмом*). Ну, во-первых, следует употреб-
лять слово «пожалуйста». К примеру, «Попросите, пожалуйста,
Лену». (*Молчание.*) А кто же спрашивает Лену?

ОН. Вашу дочь Лену спрашивает друг ее юности Фера-
понт. Он звонит ей прямо из кафе «Вареники»...

ЕЕ МАТЬ. Вам бы надо знать, остроумный друг ее юности
Ферапонт, что Лена разговаривать с вами не хочет и просила
ее более не тревожить. (*Вешает трубку*).

ОН. «Более...» Ха-ха! У нее такой торжествующий голос,
как будто она меня бросила, а не ее дочь Лена. (*Снова наби-
рает номер телефона.*) Серова Геннадия можно?

За столик усаживается МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*настороженно*). Это я...

ОН. Геныч! Ха-ха! Это я, Кронов, который Вадим.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*спокойно*). Узнал.

ОН. Ха-ха-ха... Узнал, а чего не радуешься, друг ситный?
Это я тебе нанес астральный звонок прямо из юности... точ-
нее из кафе «Вареники», где я пребываю сей момент. Может,
появишься и проведем время в приятной беседе?

ГЕНЫЧ (*важно*). Ну что ж, я зайду. (*Вынимает кален-
дарь*). Я зайду на 15 минут.

ОН. Нет. Ты уж зайди на шестнадцать. Заходи на шестна-
дцать минут – и никаких гвоздей.

Вешает трубку и вновь усаживается за свой столик, сразу засыпает.

ОН (в зал). Их никого нет. (*Жест на сидящих за столиками*). Они мираж, плод моей фантазии... Я, видите ли, фантазер... Ах, как облегчает это жизнь... Например, закончил работу позднехонько – магазины, как положено, закрыты, рестораны тоже... А ты шагаешь себе в ночи и преспокойненько в фантазиях поглощаешь какой-нибудь шашлык по-карски. И ведь наедаешься! Ах, фантазии! Началось у меня это в детстве. Однажды на уроке пару схватил. Возвратился я в детской горести за свою парту. И тотчас – стал мечтать! И уже намечтал я, что получаю совсем не двойку, а высший балл... И расцветился я улыбкой по поводу такой приятности – но вдруг слышу: «Что ж это ты, Кронов, хамишь? Мало того, что двойку схватил, ты еще и смеешься над нами!» Это «учительница первая моя» вознегодовала... Да, трудно порой приходится! Но фантазии, фантазии! И до чего я дохожу порой в этих самых фантазиях! Просто беда! Допустим, сообщают мне, что сослуживец мой Тяпкин-Ляпкин заболел. А я тотчас улыбаюсь. Люди думают, что я бессердечный или идиот. А я просто тотчас вообразил, что мой сослуживец Тяпкин-Ляпкин уже выздоровел и, встав с одра болезни, радуется коллектив своим присутствием... Так что не удивляйтесь, если порой в моменты самые неподходящие я вдруг подарю вам улыбку. Фантазеры – мы все

такие!

Значит... (*жест в сторону ее матери*) это моя теща... Теща, привет! Ха-ха! Презирает... (*Появляется пожилой мужчина, усаживается на стул рядом с матерью и сразу закрывается газетой – читает.*) Мой тесть... Говорят, ценный работник... Дома всегда погружен в чтение газеты, сокрыт за нею. Так что за годы супружеской жизни я так и не повидал лица тестя. А жаль – повидать лицо ценного работника всегда полезно.

ЕЕ МАТЬ (*мужу*). Я хочу с тобой посоветоваться: покупать ли Леночке на зиму новую шубу? (*Шевеление газеты.*) Я тоже так думаю, совсем ни к чему... Мода опять скоро переменится, и тогда...

(*Ее мать, жестикулируя, о чем-то говорит мужу, но мы уже не слышим их разговора.*)

ОН. Это они так всегда разговаривают: она его о чем-то спрашивает и сама же за него себе отвечает. Тоже, видать, фантазерка.

И тогда появляется ОНА.

ОН. Моя жена... точнее, экс-жена.

ОНА. А это мало кому интересно.

ОН. А уж это я сам решу.

ОНА. А мне наплевать...

ОН. Боже, мы ругаемся с нею даже в мечтах. Бесплотное видение... А я с ней даже в эфемерном виде – ругаюсь... Привычка (элегически). Но теперь для меня и в этом есть очарование. Так сказать, «тени минувшего – счастья уснувшего».

Появляется ОФИЦИАНТКА.

ОН. А вот это – реальность... Я сижу в кафе «Вареники», жду друга Геныча, и мимо меня в десятый раз проходит официантка... (*Официантке.*) Девушка, а девушка!

ОФИЦИАНТКА останавливается.

ОФИЦИАНТКА (*с некоторым презрением*). Дальше.

ОН. Вы свободны?

ОФИЦИАНТКА. Нет, замужем.

ОН. Ха-ха, остроумно!

ОФИЦИАНТКА. Вы что, слепой, не видите – стол не убран... Чего зубы скалите?

ОН. Ха-ха! А это я представил, что вы его уже убрали... Значит, «вареники ленивые».

ОФИЦИАНТКА. У нас плита не работает. Только холодные закуски...

ОН. Можно жалостливую книгу?

ОФИЦИАНТКА. А ее нет.

ОН. А где же она?

ОФИЦИАНТКА. А у директора.

ОН. Айда к нему.

ОФИЦИАНТКА. А его нет. Он – выходной! Да ну вас...

Ну, что кушать будете?

ОН. Ну ладно! Вареники я как-нибудь вообразу...

А за это принесите...

ОФИЦИАНТКА. У нас только коктейли.

ОН. Их.

ОФИЦИАНТКА (*милостиво*). Салат еще могу принести.

Один есть. Что рано-то пришли? Жена, что ли, завтраком не кормит?

ОН. Нету жены... Молодой-холостой.

ОФИЦИАНТКА. Остроумничаете все. За что жена-то бросила?

ОН. За что всех бросают? За доброту.

ОФИЦИАНТКА. Значит, коктейль – один? Салат – один... Что, по правде холостой?

ОН. Ха-ха-ха! Понарошку, по правде.

ОФИЦИАНТКА уходит.

ЖЕНА. Хорошо беседуешь. Ничего не скажешь! (*С великолепным презрением.*) Официантка!

ОН. Ну-ну-ну! Очень хорошенькая официантка, очень современная официантка.

ОФИЦИАНТКА возвращается с коктейлями, ставит их на стол. Сама усаживается в стороне, надевает очки и что-то начинает писать.

ОФИЦИАНТКА (*строго*). Вот, придумали: листочки за-

полняем... Выясняют, отчего пьют люди... Причины перечислить, как я их сама понимаю...

ОН. А действительно, отчего же они пьют?

ОФИЦИАНТКА. Отчего не пьют, лучше спросите. От плохой погоды пьют?

ОН. Действительно, предположим, холод или там сырость пронимает или, наоборот, жара...

ОФИЦИАНТКА. А от расстройства всякого? С горя... или с женой там поспорил.

ОН. Или помирился...

ОФИЦИАНТКА. А из-за жилищных условий – разве не пьют?

ОН. А как же... Допустим, тесно соловью в квартире, или, наоборот, слишком просторно.

ОФИЦИАНТКА. Дальше идут праздники... Я думаю их подразделить на личные и общественные...

ОН. Мудрая девушка.

ОФИЦИАНТКА (*усмехнувшись*). А дальше в голову ничего пока не идет... Я думаю, все остальное надо объединить в один пункт – «захотел человек – и напился».

Он не успел ответить, так как его друг ГЕНЫЧ, выкрикнув во сне «Серов – двадцать первый», просыпается, встает и подходит к его столику.

ОН. Геныч! Пришел!

ГЕНЫЧ (*важно*). Привет. (*Садится.*) Ну как ты?

ОН. А ты?

ГЕНЫЧ. Хорошо.

ОН. А вообще?

ГЕНЫЧ. Тоже хорошо.

ОН. Женат?

ГЕНЫЧ. Почему ты так решил?

ОН. На часы смотришь. Только уселся и сразу приник к часам. Вы, женатики, всегда торопитесь. Ну куда ты так торопишься? Ну что там тебя ждет такое развеселое? Поделись... (*Официантке.*) Может, прервете свою научно-исследовательскую работу и принесете товарищу?

ОФИЦИАНТКА (*поднимаясь*). Научно-исследовательскую... Ха-ха! Скажете же... Ха-ха! Исследовательскую! Ха-ха! (*Уходит*).

ОН. Сколько мы с тобой не виделись?

ГЕНЫЧ. Ты учти только, я ведь...

ОН. Я знаю, ты не пьешь. Да ты не бойся, плачу-то я: ведь у вас, женатиков, копейка всегда лишний рубль бережет – тот самый, который...

ГЕНЫЧ (*солидно*). А ты чего-то все говоришь-говоришь, а я не понимаю. Шутки шутишь, а мне не смешно... Прости, но, по-моему, какие-то плоские у тебя шутки выходят, тебе не кажется?

ОН (*насмешливо*). Кажется... Кажется. Тсс... Не мешай – я вспоминаю. (*В зал.*) Сверстник – он был круглым отличником... Он был сладостной мечтой родителей в нашем южном городе-курорте. После школы мы оба поехали поступать

в университет, в столицу. И оба поступили.

Входит ОФИЦИАНТКА с коктейлями.

ОФИЦИАНТКА. Мало пунктов получилось... Может, их еще на какие-нибудь подпункты разбить?

ОН. Не порть... «Захотел – и напился» – это классика. (*Продолжает, глядя на Геныча.*) Но в университете его ожидала метаморфоза... Вы поглядите сейчас на его степенный вид! А всего восемь лет назад в университете он был худ, строен, красив, он открыл, что похож на...

ГЕНЫЧ (*торопливо*). Алена Делона!

ОН. И все девицы штабелями...

ГЕНЫЧ. Штабелями...

ОН. И его так потрясло открытие собственной привлекательности, что он уже был потерян для знания. Он забросил занятия, он предался удовольствиям, он сошел с ума, он смотрелся во все полированные поверхности. А как он умел разговаривать с девушками!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.